

Dmitri N. Shalin

Introduction to Grigorii Konovalov's Letters

Grigory Ivanovich Konovalov (1908-1987), Soviet-era writer who won the 1969 Maxim Gorky Prize, graduated from the Perm Pedagogical Institute, studied at the Institute of Red Professors, and taught at the Ulyanovsk Pedagogical Institute. He is best known for his novels *University* and *Origins*, as well as his service as a secretary of the USSR Writers Union. Little is known about his formative years as a writer and reaction to the political purges of the Stalin's era. The present selection from Konovalov's letters sheds light on Konovalov's attitude toward Russian classics, his literary sensibilities and professional aspirations in the late 1930's when he enrolled as a graduate student at the Moscow Institute of History, Philosophy, and Literature. At the time, Konovalov served as docent at the Leo Tolstoy Memorial Estate in Yasnaya Poiana and worked on his first novel *Ilya Kozharov*. The letters are addressed to Evgenia Gutman (1919-2016), the 19-year-old student from Leningrad who worked at the same time as a guide at the Tolstoy Museum. As one can gather from Evgenia Gutman's diary and Konovalov's letters, the two became romantically involved, with the marriage proposal entertained and turned down by the undergraduate of the Herzen Pedagogical Institute in Leningrad. I hope to publish separately the diary of Evgenia Gutman-Shalina regarding this riveting story. Here, the readers are offered a selection of Grigory's letters where he discusses his work on the novel and the literary world of that era and offers a surprisingly frank assessment of Maxim Gorky's death.

I wish to thank Vera Miranda, graduate student at the University of Nevada, Las Vegas, for her assistance with transcribing the letters.

Materials and Discussions

Григорий Коновалов

Письма к Евгении Гутман, 1938–1939

Женя!

Несколько часов тому назад я прибыл в Ясную Поляну. После ужасного шума, какого-то бестолкового железного грохота, пыли и вони Москвы я почувствовал себя здесь лежим и ясным будто, переболев тяжело, я начал выздоравливать. Я не доехал до башен, соскочил с телеги и, цепляясь за жилистую акацию влез на кручу к беседке С.А. Отсюда когда-то ты провожала меня в М[оскву], наказывая привезти *Florentinische Nächte* и... колбасу. Тут в суматохе я увидел когда-то впервые тебя с парнем (Миша) и по-настоящему почувствовал боль и зависть.

Много много других чувств и воспоминаний будят эти места: и пруд, заросший зеленой плесенью, и аллеи, и серебристые гигантские тополя, и сумерки, и яркая звезда, загоревшаяся на мгlistом вечернем небе. За эти дни тут сильно все изменилось. Лес облетает до времени, спаленный набегами южного степного зноя, а в имении тишина и пустота. Все казалось мне, что вот-вот увижу тебя в твоём розовом пестром сарафане, услышу твой голос за палисадником или увижу тебя на террасе в углу, поджавшую по-азиатски под себя ноги, обвитую вьющимся [нрзб.].

Пусто. Тополь над нашей узкой скамейкой раздет донага. Вечером я сидел на скамейке, смотрел на мелькающих бабочек перед фонарем большого дома. Мне стало очень грустно. Никогда так сильно не хотел я видеть тебя, как в этот вечер.

Ходил ли я по двору или по аллее, озаренной полной сухменной луной, я чувствовал тебя. Кажется, все жило тобой, а ты уехала, будто умерла, и все оделось печально-тревожными красками и напоминает о тебе. Знакомые предметы вдруг обрели какую-то тревожащую меня силу. Дорожки, лес, окно твое, теперь темное, будто в доме вымерли все и некому света зажечь, пруд, вода в котором потемнела и похолодела, скамейка, где сидели с тобой и говорили путанным языком, усложняя дело — все будит в сердце невнятную тоску, точно я вернулся в родной дом свой после войны и не нашел ни матери, ни жены с детьми. Ты унесла что-то дорогое, бесконечно родное мне.

Что будет, того не миновать. Благодарю судьбу за то, что свела она меня с тобой, а еще больше за то, что свела она именно в Ясной Поляне.

Прости, что я распространяюсь только о себе. Снова всплывают образы вчерашних дней. То вижу костер на поляне за Воронкой, чую запах дубового томленного листа, слышу шипение сырой земли у огня и треск сучьев, вижу тебя, озаренную огнем с левой щеки и вспоминаю Виктора, который обманулся, увидав ямочку только на одной правой, затемненной щеке.

То видится ночь и дорога на могилу, и я у столба, и ты на поляне на сухой гривке канавы. Неужели после этого возможно другое?

То Воронка или пруд, и я учу тебя плавать, а ты бултыхаешь ногами, смешно по-ребячьему морщишь губы и блестяшь глазами.

И кукушкины слезы, и горбатый старик с веселыми глазами цвета голубенького льна, и старая ива у Воронки, удивившая тебя своим ростом, и бурные тихие ночи — все мило мне благодаря тому, что ты жила здесь.

Распространился, безумная голова! Тебе надо знать, что тут делается, а не эти элегии.

Приедут сюда писатели, утром. Будет обед и ужин. Но об этом не хочется писать. Эгоизм? Возможно. Мне не здоровится. Простыл. Какая глупость.

Пиши на Москву.

Привет матери и брату, хотя его не знаю.

Ну пока, скоро увидимся.

Г.

9/IX-38 г.

Ясная Поляна

В Москве буду проездом 13-15.

Женя!

Все дни занимался то устройством юбилея, то писанием и институтскими делами. И сквозь эти дела и мысли, сквозь образы, воскресенные памятью, обогретые сердцем, я видел ясно тебя и думал о тебе. И казалось часто, что потому только и возникают эти образы и делаются эти дела, что присутствуешь тут среди дел и творчества ты. Так иногда, идя по шумной, грохочущей улице, глядя на дома, людей с их то заботливыми, то смеющимися лицами, даже разговаривая с ними, ты проносишь в себе какую-то звучащую в далеке твоего сердца мысль, думу. Так в музыкальном произведении пробивается через хаос звуков, отдельных партий основной мотив. Он то звучит совсем над ухом, как шмель теплым майским вечером, то тихо тихо, будто река зимой подо льдом, то

совсем замирает, но всегда ты видишь и чувствуешь этот звук. И кажется, будто вертится все вокруг него, и потому, что он есть.

Ты и есть в моей жизни этот то удаляющийся, то близко звучащий мотив. Я аналитик, ты так меня называла. Я хотел бы подвергнуть анализу все, чтобы познать явление и не трепетать перед ним. Но странно! Чем больше познаю я тебя, тем сильнее создается радость этого творения. И кажется, что не я первым явился на свет, а любовь моя к тебе.

Бывают минуты полного самоотречения от самого себя ради тебя. Кажется, снова мне: я хочу быть с тем то и тем то, и соглашусь на это. Так я люблю *тебя, а не себя*. Я сидел дома вчера (16/IX) писал новую большую вещь, а не ту повесть об эгоизме. Мне принесли твое письмо. Прочитал, и захотелось увидеть тебя немедленно! Пустыми показались все разговоры наши в тесных домах и комнатах. Пусть бы на одном метре земли или в тамбуре вагона, как это было на Ленинградском вокзале, пусть где угодно только бы видеть тебя.

Зачем ты спрашиваешь, когда я приеду в Ленинград? Хоть сейчас! Сдерживаю себя, засадил писать. Все идет хорошо. Написал 60 стр. Вчера за утро 10 стр.

В Ясную Поляну приезжал специально ко мне из журнала *Молодая Гвардия* человек. Просил роман печатать в их журнале. Просит в альманахах под XXI и издательство. Будет издаваться одновременно и в одном из журналов и в Госиздате.

Вряд ли придется работать в Ясной Поляне, мне дали в инст[иту]те нагрузку партийную [применительно к начальному?]. А их 850 человек.

Буду писать и писать. Настроение рабочее. Жаль нет тебя рядом. Я тебе не описал празднество в Ясной Поляне. Ничего особенного. Писатели были, артисты. Много ели, замучили толстого повара там его. Ни одного дельного выступления с их стороны. Слушал скрипку в Чепыже под дубами. Не могу при людях слушать музыку, особенно Чайковского. Ушел в лес и проявил свои чувства.

Очень жалею, что не получил твое первое письмо. Какое бы оно ни было, оно дорого мне. Не грусти, не хандри. Работай. Впереди у нас жизнь. Будем смотреть и Я. П. и [нрзб.] и Алтай и Сев[ерное] море. И новые чувства и радости ждут нас. Поцелую я тебя в твои груди и твои губы.

Привет матери. Скажи, что я очень скучаю по ее борщу.

Григорий

17/IX-1938

Жду писем

Женя!

Ты ведешь себя плохо, поэтому и захворала. Если будешь хворать, я тебя накажу тем, что умру. Это поветрие какое-то. Я также два дня болел проклятым же гриппом. Вчера было плохо, болела голова, но думалось очень хорошо, писал план первой части романа. Все ясно теперь. Ложась спать, решил раньше встать и работать. Но утром еле поднялся — как избитый. Грипп. Сегодня не писал, как не бился, и хотелось работать, а не было сил. Занялся чтением учебника по истории ВКП(б). Советую почитать. Интересная книга. Какая досада, что не могу работать. Это худшее наказание человеку. Раз оба захворали, давай выздоравливать вместе. Даю тебе слово, что я буду совершенно здоров в то время, когда ты будешь читать это письмо. Хочется пожурить тебя за хворь, но жалко. Лучше я подойду к тебе, легонько возьму за твою тонкую кисть, другую руку положу на горячий лоб твой, тебе станет хорошо. Прислушайся как течет моя кровь, какие-то волны, катятся, переливаются в твою руку и голову, и от этого делается легко, немного томно и хорошо. Оставь заботы об институте, забудь на минуту всех, представь себе жаркий полдень, залитую солнцем поляну от Воронки до березовой рощи. Вот мы идем с купания по березовой, заросшей травой, аллее. Моя рука лежит на твоём правом плече, ты держишь ее своей рукой. Мы идем в тени мимо колодца, оставшегося вправо. И легкая истома разливается по всему телу. На любимой скамейке Льва Николаевича мы садимся. Ты легла и кладешь голову свою на колени мои. Тогда такие же умиротворяющие волны шли от тебя ко мне и обратно.

Скорей выздоравливай, береги себя. Мы увидимся скоро. Тогда поговорим обо всем и о моем романе. Я не живу им, он меня уже не задевает, я думаю и работаю над другим. Отрывки из нового я читал тебе. Лучше я прочту тебе его, чем рассказывать о нем в письме. Вчера понял, что роман будет о 3-х семьях, из которых одна должна быть семьей царя Николая II. Имею два варианта романа (в голове тебя!). 1-й три поколения одной семьи 1905-1936г. 2-й три поколения писательских семей. Они проходят через войну 1914-1917 г., через две революции. Если осуществить первый вариант, то будет нечто [вроде] *Дела Артамоновых*, если второй, то *Война и Мир*.

Сама знаешь, что первый легче писать; его могу закончить в один год.

Второй же требует много труда, зато даст много условий и материала для проникновения в глубины души человека. Первый захватывает все мое внимание, тогда как второй требует огромного напряжения души. Вчера, когда я начинал болеть, открылись вдруг тайны судеб моих героев второго варианта. Это было потрясающее явление. Лучше об этом не говорить, а думать и живописать. О задуманном можно говорить много, потому что оно затмит все содержание моей жизни на протяжении 3-5 лет. Виктор говорит, что так долго нельзя писать сейчас. Подумаю. Плуг уже пущен в землю глубоко. Смогут ли кони моих творческих сил тащить его на такой глубине – увижу. А мельче пахать не хочется. К чему? Разве нельзя пройти какие-то 40-50 лет, кот. еще суждено прожить мне, занимаясь другим делом? Нет, все самообман! Мыслить живо, конкретно, т.е. “художественно” — это такое свойство моей головы. Не писать, — значит сознательно засорить источник радости. Чувствую все это. Буду писать. А какой вариант, еще подумаю...

А ты дольше отдыхай, не горячись, а то как молодая лошадь, плечи обожжешь. Если бы ты была близ меня, не болела бы. Верно, верно.

Матери передай привет и благодарность за то, что она ухаживала за тобой. Это все равно, что она за мной ухаживала.

Смотри же не болей. Пока всего хорошего.

Жму руку. Целовать, сама знаешь, нельзя, – грипп!

Г.К.

21/IX – 38

Женя!

В Ясной нашел твое письмо (“дикое”). Сколько мятежности! Очень рад, что оно, вопреки твоим заклинаниям не попадать мне в руки, все-таки попало мне.

Тут красота неопишуемая. Вчера — 26 — я вместе с новым уч. Секретарем Сашей Нелисовым и товарищем моим авиаинженером 1-го ранга Костей сделали чудесную прогулку. Мы набрали полные карманы картофеля и яблок и отправились вечером в лес. Мы прошли мимо могилы Л.Н., вышли почти к купальне Толстых и расположились у леса. Справа поле, тонущее в темноте, ниже Воронка, задернутая туманом. Небо чистое и звездное. Разожгли костер под старым пнем, зажгли пни, кот. мы выворачивали руками.

Когда погорели угли, мы побросали в жар картошку, рядом с огнем разложили яблоки. Запахло очень вкусно яблоками и поспевшей в огне картошкой. Так аппетитно и вкусно мы еще никогда не ели. У нас была соль и хлеб! Какие рассказы рассказывали мне мои друзья! Как я жалел, что не было тебя тут! Мы долго ели, беседовали, потом рыли, как звери, землю руками и засыпали костер. Потом отыскивали в небе Сириус, полярные звезды, стожары и другие. Лес и трава покрылись росой, когда мы возвращались домой.

Мы думали, что времени уже часа 2 ночи. Но как, векуя, мы ошиблись. С веранды в диком винограднике вышел в тулупе Иван Васильевич — сторож и своим чуть сипловатым, но приветливым голосом сказал, что времени только 10 часов.

Живу я теперь в деревянном домишке рядом с дом музеем. Шум липы и сада слышен мне. Лес, как одурел, когда нужно падать листве, он зеленеет, видимо недавно прошедшие дожди омолодили его.

Сейчас приступаю к писанию романа. Заголовок нашел ему *Битва*. Может быть, изменю.

Получила ли ты сборник рассказов? Пиши сюда на Ясную Поляну. Тут я буду до 5-го октября, потом поеду в Москву. А там может в Ленинград. Вот тогда-то я расскажу тебе все, все.

Вечером на закате солнца ходил смотрел нашу маленькую поляну за садом. Там все еще хорошо.

Привет матери.

А тебе..., Григорий.

Обнимаю тебя.

27/IX-38г.

Ясная Поляна.

PS. Посылаю листок клена и цветок.

В 6 часов с товарищами едем (вдвоем и на телеге) по всем границам заповедника. Хочешь? Сейчас 4 часа, ждем тебя до 6. Хорошо? Шучу, а жаль, что без тебя. Сегодня говорил по делу с женой Корз. Она рассказала, что запрещала сыну гулять с девушкой и тут же повеселела: “Это вам с женой можно было ходить, вы вот жених и невеста, а мой сын простофиля. Эту девушку я не любила, она хитрая и готова была женить сына моего на себе”. Она (Корз.) советует жениться на тебе. Каково?

Женя!

Не знаю, сумею ли я рассказать тебе то, что нужно и необходимо? Настроение у меня отшельническое, ушел от мира и замыслов. Еще вчера голова моя была занята образами вновь задуманного произведения: люди любили, ревновали, мучились, калялись, расстреливали и умирали, то есть делали то, то они всегда делают. Я замышлял огромные планы. А сегодня опустела голова моя, будто лист, ободраный осенним ветром. Умерли все мысли и все желания. И жалким и ничтожным я кажусь себе, точно заяц, окруженный со всех сторон водой. Где же дед Мазай, спаситель зайцев? Настроения эти улеглись на дно души сами собой так же, как они сами собой и возникли.

С романом что-то не того. Всем нравится, но не печатают. Надоело. Хочу взять от них его, еще раз доработать и, завернув в папку, положить в шкаф. Если это подлинное художественное произведение, то оно будет живо и через 30–40 лет, когда потомки мои после смерти моей покажут его свету. Если он умрет через 10 лет, то жалеть о таком хилом создании не стоит.

В писании и писателе две стороны: потребность мыслить в образной форме и чтение результатов этого мышления (произведение) народом. Последнее не удастся мне пока. Будем жить первым, так как не писать я не могу, не мыслить тоже не могу, а что касается общения с народом, став необходимее, то тут придется потуже подпоясаться и все. Люди, которые решают вопрос: нужно ли для народа печатать то или иное произведение, судят прямо-таки удивительно. Одному нравится то, не нравится другое, а другому совсем наоборот. Творится полный невежественный произвол, вкусовщина. Да если бы Лев Николаевич попал им сейчас, то Максим Горький может быть не вышел бы в свет. У Льва Николаевича начали бы вытягивать все его рассуждения, редактировать его стиль, а о Горьком бы сказали: нет сюжета. Раньше тоже было так же, как и сейчас: произведение выходило, одни его разносили в пух и прах, другие хвалили. Представь себе, что если бы людям, которые разносили Горького или Толстого, было поручено решать вопрос: печатать или нет, они бы не печатали. Ведь с этой точки подойти к Достоевскому, то *Братья Карамазовы* его никогда бы не увидели света.

Мне так все это надоело, опротивело, что я бросил думать о романе. Зато невольно подумал о себе и тебе. Я и прежде считал и говорил, что я не достоин тебя. Это я знал и прежде, когда думал о себе, что я кое-что могу создать, и какой-то мнимый талант хоть

чутьточку оправдывает мои притязания на твою любовь. Теперь же когда туман развеялся, я оказался голым дураком, посредственностью самой обыкновенной, теперь я абсолютно не имею право на тебя, ни морального, ни какого бы то ни было. Если поставить рядом со мной молодого человека лет 23–25 ничем не замечательно, то я, конечно, уступлю ему тебя, хотя бы потому, что я уже пожил, он нет.

Я и прежде говорил, что не стою тебя. А теперь я не только думами это понимаю, но и сердцем, всеми чувствами.

Разве нельзя обмануться в людях, если они сами в себе обманываются. Так и ты обманулась во мне. Я тебя благодарю бесконечно за то, что ты не согласилась тогда на мое предложение. Если бы тогда случилось это, то я бы сейчас застрелился без всякого колебания, потому что чувствовать себя мерзавцем и негодяем невозможно.

Я знаю, как пойдет моя жизнь. Очень скучно. Нет! Я не буду так жить: ходить читать лекции студентам, не буду насиловать себя.

Я буду мыслить. Я знаю, что буду несчастлив в быту, буду скорее всего одинок, но это-то и хорошо. Пока не забьют меня гробовой доской, не потеряю надежды стать властителем дум. Путь этот тяжел. Сплошные неудачи. Лучше одному терпеть их, это легче. А то будет идти с тобой человек, а ты все будешь думать: он жертвует своей жизнью ради меня. Сознание этого будет тяготить меня ужасно. Я не представляю себе любимого человека, страдающего вместе со мной, я не хочу, чтобы он видел, как забываются радости и честь, я хочу, чтобы он только радовался.

Мне тяжело сейчас, ты сама это понимаешь. Поэтому приехать я не могу. И тут все опротивело в Москве тоже. Поверь. Завтра уеду в Ясную.

Прощай, Женечка, мне очень тяжело. Жаловаться мне также стыдно.

Г. К.

P S. Твою карточку отдал увеличить, будет готова 11/XI.38г. – это будет огромный портрет. Раму закажу в Ясной из яблоневого дерева. Когда все сделаю, вышлю тебе и портрет и карточку. Тебе захочется написать мне. Не горячись, обдумай лучше все, тогда пиши. Ты увидишь, что я прав. С моей стороны было бы очень эгоистично и жестоко тянуть тебя с собой по этим рытвинам жизни. Ты имеешь право жить счастливой и хорошей жизнью.

Еще раз прощай. ГИК

18/X-38

Привет матери.

Женя!

...Опять пишу тебе, не дождавшись ответа на первые два письма. Сидим сейчас в деревянном доме – я, товарищ мой Нелюсов и сторож Иван Васильич. На дворе туманная мгла затопила деревья. Я вышел на крыльцо. Дождя нет, но с голых ветвей лип каплет. Это мокрый туман осел на деревьях и течет на влажную землю. Вернулся в теплую избу. Бородатый Иван Васильич и Нелюсов сидят за столом. На полу лежит кобель Набат, черная спина и желтое брюхо. Мы выпиваем портвейн. Мы очень много говорим и особенно о... тебе, Женя. Я скучаю по тебе, лелею всякую мелочь о тебе. [Люблю] тебя так крепко, что малейшая неприятность, даже предчувствие глупое доводит меня до волнений, кажется, что я буду несчастлив. Но сейчас об этом думать не хочу. Одно хочу сейчас: видеть тебя, слышать твой голос, эх, черт возьми, подойти к тебе на веранде, обвитой диким виноградом, (а ты сидишь на полочке) обнять тебя. Эх, Женя, Женя, я совсем одурел. Что делать мне? Заверь меня, иначе я умру. Все, что делаю я сейчас, все для тебя.

Ночь. Тишина. Я с тобой. Где же мне провести праздник? Ты ли будешь у меня или я поеду к тебе? Этот вопрос я задал тебе в том письме, жду ответа.

Милая моя, дай поцелую тебя, как на узкой скамейке. Имею ли я на это право сейчас, а? Твой до гроба. Ведь совсем одурел! Да?

Г. Ясная поляна. 27/-X 38

Женя!

Сейчас получил твое краткое письмо, бросил все и снялся с Ясной и поплыл в Москву. Сейчас жду поезда, а они — поезда, — как на грех, проходят мимо и мест нет и нет. В Москве буду 30 и 31. Необходимо присутствовать на комсомольском собрании. Будут выбирать комитет, а я партийный, прикрепленный к тому самому Литфонду. Надо поэтому быть на собрании. А там поеду к тебе. Сразу же поеду. К черту все сроки, еду и никаких. Если не вовремя приеду — извини. Но поеду.

Я не могу передать тебе всей радости, охватившей меня при получении твоего письма. Будь что будет. Сейчас встретимся. На эту поездку к тебе возлагаю все свои надежды. Все будет зависеть от

тебя. Везу тебе кое-что. Эти дни буду жить, как в лихорадке, ожидая поездки к тебе.

А тут осень, кругом тускло, унылое небо глупо лежит над черными траурными пашнями, над голым мертвым лесом, а кругом лиловый печальный горизонт. Люди утихомиренные с холодеющей кровью. Как видеть тебя хочу, просто невозможно сказать.

Боюсь оторвать тебя от учебы. Ты не получила, верно, два запоздалых моих письма с карточками. Прости, что я выслал тебе такую уйму самого себя.

А вот и билет куплен [...]

До свидания. Целую.

Привет матери.

29/X-38 Г.К.

Тула, вокзал

13/XI

Милая моя невестушка!

Наверно думаешь бог знает что. Как же не думать, ведь твой шалопай уехал 8-го и до сего дня не пишет ни строчки?! Не писал тебе потому, что думал все о тебе. Когда мало и редко думаешь о человеке, то всякий раз, как только вспоминаешь о нем, тут же решаешь: ага, нужно написать. Напишешь и забудешь о нем до следующего письма. А я так много и постоянно думаю о тебе, беседую мысленно с тобой, ложусь спать и вижу тебя, твои глаза, твои волосы, твое лицо и улыбку этого лица, что я не знаю: писать тебе или не нужно. Право, так много хочется сказать, что и не знаешь с чего начать. Ты советовала мне писать конкретно. Ну, вот слушай. Вчера говорили с Виктором Ю. У него ужасная путаница в голове. Человек умный, а не читает. Считает, что не в этом дело. Все писатели думали и старались делать одно и то же: счастье народа, смысл жизни и т. д. Как же можно решать эти вопросы одному сейчас, не зная во имя чего жили, боролись, погибали лучшие люди прошлого? Он наговорил кучу глупостей, из которой я понял одну дешевенькую и пошленькую идейку: человечеству нужно вернуться к звериному образу жизни, т. е. к какому-то выдуманному новому коллективному капитализму. Такая чушь возмутила и меня и моего товарища. Или В. несерьезно думал над жизнью, или он из тех пошляков, которые путают цели народа и свои личные мелочные гаденькие интересы и похотливые побужденьица.

Мы разбили его вдребезг. Я сказал ему, что он малообразованный мальчишка, объявивший а priori, что нечему учиться ему.

Он ушел совершенно убитый, сказав, что он оторвался от настоящей жизни, от народа и его интересов. Посмотрим, что будет дальше.

Сегодня прочитал в рукописи рассказ Теодора Ойзермана¹, о кот[ором] я тебе говорил. Насколько умно выступал он с критикой моего рассказа, настолько, даже больше, плохо написал он свой рассказ. Такая мертвая выгодность, такая бледная малокровная выдумка, что диву даешься: неужели человек писал добровольно, не из-под палки. Нет глупее человека доброго, взявшегося играть роль сатирика.

Писать еще есть кое о чем, но я пережду. Ведь ты просила писать мало. Не так ли? А, Женя? Ну, пока, всего. Расти большая и учись лучше.

Привет матери и брату.

14/X

Вчера закончил письмо к тебе, а сегодня ночью чуть не умер. Хорошо, что не услал письмо. Дело в том, что я отравился какой-то дрянью и ночью ужасно страдал. Хорошо, что был со мной друг Александр Федорович Нелюсов. Он проснулся, услышав мои стоны. Зажег свет и испугался: я бледный лежал на полу. Он пощупал мою голову и грудь: они были холодны, как у мертвеца. Сердце у меня прямо замирало. Потом меня сорвало и я, совершенно обессилив, уснул только под утро. Целый день лежал дома. Скука. Читал Чехова. Пишет правду, но эта правда убивает человека, принижает его, не поднимает на борьбу. Вообще то ругать человека, трунить над ним, издеваться над его личной душой легкое и неблагородное дело. Человеку нужно внушать веру в себя, в свое будущее. Что человек мелок, жалок — это и до Чехова было известно. Писатель он, разумеется, талантливый и вовсе не нуждается в моем признании. Мне только кажется, что современная литература должна окрылять человека. Это вовсе не означает, что нужно расшаркиваться перед узколобым, толстозадным мещанином. Литература должна помогать человечеству избавиться от

¹ Theodor Ilych Oizerman (1914-1983), Soviet philosopher, historian and literary critic.

вчерашнего дня, т. е. от сил и привычек рабского общества, должна научить человека чувствовать хозяином земли.

Лежал и все придумывал каой-нибудь смешной сюжет. Не получается. Жаль.

Ты, верно, в обиде на меня? Не сердись. Я — весь твой, я с тобой.

Как плохо, что не умею писать стихов.

С прив[етом]. Г К.

15/X

Любезная моя Женя!

Сейчас вернулся из ин-та с собрания и нашел дома письмо. Вся усталость исчезла, равнодушие тоже начинает пропадать. Эти дни все ждал от тебя письма и, наконец, вот оно. Мне кажется, что я не стою такой теплой ласки. Пошутил. Сегодня редактировали с Белкиной *Илью Кожарова*. И вдруг на меня напала такая неудовлетворенность романом, что я еле-еле выдержал до 4 часов. Вот думаю над ним. Все, от строчки до строчки, ложь, выдумка, холодная рационалистическая галиматья. И все эти 4 года работы над ним сплошной обман не только самого себя, но и людей, так как я им сумел внушить, будто это писание суть художественное произведение. Зablуждение. Нет в этом романе ни одного слова правдоподобного. Все голая фантазия. Я не сказал этих мыслей Б. [Белкиной]. Пусть работает с увлечением. Нет, теперь бы я под страхом смерти не стал бы так писать. Такое отвращение охватило меня к этой выдумке, что я и не знаю: хватит ли силы и терпения доредактировать его до конца.

Сейчас как никогда хочется мне, чтобы ты прочитала эту скуку. Если такими же темпами пойдет работа, то я вышлю тебе экземпляр, уже исправленный числа 10 декабря. Или лучше в каникулы прочитаешь? Мне очень хочется знать твое мнение прежде, чем управлюсь сдать его в производство. Но я боюсь отнимать у тебя 3 дня времени на прочтение этого суррогата, а время тебе очень и очень нужно сейчас для зачетов. Ведь сама же пишешь, что запустила учебу. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что ты не меньше моего заинтересована в том, чтобы роман был хорошим. Ведь ты теперь вроде соавтора у меня!

В эти трудные минуты я ни разу ни к кому не обратился за советом, а почему-то потянуло к тебе. И твое мнение для меня будет окончательным, но не потому, что я считаю тебя очень уж иску-

шенной в жизни и литературе, а потому что ты и я одно и то же. Не так ли? А?

Что я еще делаю. Вчера вдруг захотелось писать тот роман, отрывки из которого я читал тебе в Ясной. Причем захотелось писать как-то по-новому. Сел за стол и начал писать. Пока будто ничего получается. Но сегодня подумалось: очень уж залез глубоко в историю. Надо бы о сегодняшнем живее писать. Как видишь, Женя, я переживаю нечто вроде осени или весны: не то дождь, не то снег, и такое сумбурное настроение. Буду писать только тогда, когда очень уж необходимо будет.

Скоро придет (завтра) Виктор и прочитает свой рассказ. А 18 я ездил с Бителем и молодыми писателями на дачу М. Горького. Огромный с колоннами дом на берегу Москвы-реки в 50 км от Москвы. Этот дом был Морозова (промышленника)². Говорят, когда М. Горький женился на Андреевой,³ Морозов, узнав это, застрелился в Париже. Он любил ее. Горький не хотел поселиться в этот дом, но его поселили, окружили негодяи – Ягода⁴ и его сволочь и тут убили его. Жутко в этом доме. Огромные комнаты гостинного типа, совершенно не обжитые. Наверху жил праведник Максим Горький, а внизу бандит Крючков (секретарь его) спаивал сына Макса,⁵ а Ягода и другие дегенераты пьянствовали, распутничали с женой Макса и убивали великого человеколюбца. Горький был проникательный, но враги знали одну его слабость — религиозное преклонение перед трудом, созидательной силой человека. Поэтому они действовали наверняка.

Авербах — этот сучий хвост, изолгавшийся до печенок, хвалил Ягоду, а Ягода его.

— Знаете, Ал. Макс., — скажет, бывало, Авербах,⁶ — а Генрих Генрихович [Григорьевич – ред.] (Ягода) сегодня заболел гриппом.

— Что вы? Как?

² Savva Timofeevich Morozov (1862-1905), Russian merchant, entrepreneur, and philanthropist.

³ Maria Fedorovna Andreeva (1868-1953), common-law wife of Maxim Gorky.

⁴ Genrikh Grigorievich Yagoda (1981-1938), head of Internal Affairs Department in the Soviet Government, arrested in 1937 on charges of anti-state activities and executed in 1938.

⁵ Maksim Alekseevich Peshkov (1897-1934), son of Maksim Gorky from his first wife Ekaterina Pavlovna Peshkova.

⁶ Leopold Leonidovich Averbakh (1903-1937), Soviet literary critic and editor who was tried and executed on the order of Stalin.

— Ночью переоделся и ходил по Москве и, увидав старую старушку — [нрзб.], он перенес ее на руках через улицу и дал ей денег и заразился от нее гриппом.

Горький в слезы. Не стану расписывать всей глупости, подлости и змеиной хитрости, которую применяли эти подлизы, чтобы отравить Горького. Характерно, что когда попытались сделать фотовыставку о жизни Горького, то получилась не жизнь, а фотовыставка на тему: как убивали Горького.

Увидимся — расскажу.

Первая жена А.М. Екатерина Павловна [Пешкова – ред.] напоила нас чаем. Я пригласил ее в Ясную. Обещалась приехать. Звала в гости еще. Поедем с тобой зимой или летом, когда лучше.

Видишь, как разошелся я, удержу нет. Дождусь ли я тебя? Так хочется видеть мою черноглазенькую! Кажется загнал бы сейчас последние пожитки, чтобы выслать тебе денег на дорогу, чтобы ты приехала хотя бы на 1-2 дня. Занимайся. Не волнуйся, не волнуй мать и брата. Хорошо, что это не случилось. Но мы бы не пропали даже в том случае, если это и было бы. Не так ли? А?

Сейчас уже 1 час ночи. Давай поцелуемся на сон грядущий.

Твой Г.

Привет матери и брату.

25/XI-38 г.

Кажется я, как Берг, только о себе и написал. Извини.

Что с тобой случилось, милая моя говорунья?

На письмо мое не отвечаешь, не заболела ли? Или так занята экзаменами? Или забыла меня, мнительного дурака, “продолговатого” дурака, как ты обзывала меня в Ясной. Каждый день жду письма, а его нет и нет. Или наступившие холода заморозили тебя. Или я напугал тебя своим письмом, в котором малость чернил себя. Горе с тобой. А тут еще сам я занемог, что-то раскис. Такая слабость, просто грех один. В последнее время жил плохо, питался не систематически, а кое-как. Готовлюсь к экзаменам. 3000 страниц надо перечитать. Лето то, сама знаешь, чем занимался. А теперь читаю и читаю, даже дневник некогда писать. Жалко. Сколько мыслей, образов просятся на бумагу.

Вчера просматривал конец — смерть Ильи Кожарова. Сделал одну вставку. Вряд ли пропустят. Работа с Белкиной подходит к концу. Видимо раньше 5-10 января ты не получишь роман с машинки. А у нас страшные холода и нет снегу. Голые камни накалились до того,

что сделались сизыми. Чего еще тебе писать, Женя? Жду каникулы. Тогда-то уж увидимся и поговорим. А как ты будешь Новый 1939 год встречать? Без меня?!

Передай привет матери и брату.

Всего доброго. Г.

Я читал Бунина *Исход* — страшная сила таланта. Кажется, что лучше его никто не писал на русском языке.

ГК.

18/XII- 38 года

Женя!

Получил твое письмо и очень удивился что не получила моего первого. Оно очень верное во всех отношениях. Я писал тебе в нем о том, что если ты хочешь, сообщу адрес моей бывшей жены. И что она так разделяет меня в твоих глазах что ты тотчас же разлюбишь меня. Хочешь?

Письмо твое мне не понравилось. Извини. Сам не знаю, чем не понравилось. В Ясной я больше не работаю. Поэтому в зимние каникулы вряд ли поедем туда. К тому же я сейчас так обезденежил, что нужно будет в каникулы работать.

Я очень тоскую по сыну. Тебе это чувство еще непонятно. Это тяжелое, ужасное чувство. Каникулами поеду увидеться с ним. Во чтобы то ни стало поеду.

Письмо твое — какой-то холодный принудительный отчет о своих делах. Извини меня Женя, но это так. Если просто судить по этому письму, то ты не любишь меня, и переписка со мной для тебя неприятный труд.

Вот тебе в назидание эта короткая писулька.

Так-то вот,

Привет Г.К.

25/XII-38

Не стыдно тебе, упрямая девчонка? Не совестно тебе молчать? А? Обиделась на мое письмо? А не подумала: как он там теперь, написав это письмо? Эх ты, Женя! Я болен вот уже 6 дней. Началось с пустяка: ангина. Осложнение. Теперь лежу. Будто и нет особенной хвори, а таю, силы покидают меня. И ты молчишь. Опять гордость, да? А не подумала, что я все же старше тебя, что ты, кажется, могла бы отбросить свою гордость? Не подумала, легкомысленная!

Вот сдал на суд нечестивых *Илью Кожарова* — и пусто на душе! Будто обокрали... Сегодня писал новый роман, но устал. Чертова болезнь.

Как жалко, что тебя нет тут.

12 зовут в еврейский театр, где будет встреча с Михоэлсом. Не знаю, пойду ли. Плохо чувствую себя.

Опять не напишешь, да???

Знаю, бог правду видит! Моя кровь [нрзб.] на тебя по господу богу.

Дай твою ручку. Моя горячая. Ведь у меня жар.

Привет тебе. Г.К.

11/1-39

17/1-39г.

Женя!

...Ах, да пока расскажу тебе о *И[лье] К[ожарове]*. Работа закончилась. Печатают на машинке. Как напечатает, пошлю тебе один экземпляр. Будут читать и еще раз читать другие редактора. У меня все больше появляется желание писать и не печатать. Пусть после смерти печатают. Это, право, такое унижительное дело. Поставили к руководству из[дательств]ом людей с малокровной мыслью, трусов, и чего же ждать от них?

Хвалить хвалят, а все еще оглядываются: как бы чего не было. Каждый предлагает свои концовки. Одни говорят Кожаров (герой) должен жить, а другие: пусть умрет. Я же сказал: если вы так твердо знаете, что должен делать герой, то пишите сами романы. Больше чем уверен, что если бы *Война и мир* были написаны сейчас, то их бы не напечатали бы в таком своеобразном виде. Редактора предложили бы выкинуть все рассуждения, изменить стиль и т. д. Ужасная уравниловка идет. И все хлопочут, суетятся, пока не замусолят вещь до того, что она станет, как и все, т. е. стандартной! Причем все это делается с такой тупой самоуверенностью, точно только им, редакторам, поручил бог искусства все тайны творчества.

И[лья] К[ожаров] выйдет, конечно, но обстрижен, обмыт и т. д. Особенно будут ныть цензоры. Даже мой редактор *Б[елкина]* выбрасывает такие куски, что окончательно повергает меня в отчаяние. То ей кажется: пессимизм. А современный герой должен, как идиотик, улыбаться и смеяться во всю рожу. Как измельчала мысль, как опошилось понимание поэзии. Но видимо без этой

бани я не могу печататься. Буду терпеть. Терпение победит. Только подняться бы на ноги, а тогда буду спорить.

Вот вчера читали рассказ *Калмыцкий брод*. Уж как не хвалили! И гением называли, и чего только не говорили. А рассказ-то этот написан мной еще в 1934 году, а в прошлом году его забраковал журнал *Кр[асная] Новь*. А тут вдруг — гений. Нет никакой охоты писать для печати. Все равно я не верю, что буду печататься в своем естественном виде. А после парикмахерской обработки не хочу. Били, снимали этих перестраховщиков, а они всюду. Да и трудно избавиться от них, ибо перестраховщик — это прежде всего трусость, низость, страх за свою шкуру, это служака, казенный Угрюм-Бурчеев. Какое ему дело до Сов. литературы? Он интересуется ей не больше, чем другим ведомством, которое дает ему заработок для продолжения племени крючкотворов и малокровно мыслящих людей. Ну, хватит. Пользы от этой ругани никому нет.

Женя, приготовься к восприятию моего откровения. У меня ведь не один сын, а два. Вот написал эти слова и остолбенел. Все конечно. Теперь ты с презрением от меня отвернешься. Пусть, что будет. Зато теперь все до самого основания рассказано. Не стану сейчас вдаваться в подробности о том, почему я сразу не сказал тебе об этом. Подлость природы моей? Боязнь, что ты не полюбишь меня? Все может быть. А больше всего гадкое малодушие. Я виноват перед тобой, и поэтому не могу ни оправдываться, ни просить прощения, ни умолять, ничего не могу. Все будет зависеть от тебя. И какое бы ты решение ни приняла, я все оправдаю, ибо все будет правда. Будешь презирать меня, — я молчу, я виноват, все твои поступки и решения для меня убедительны. Говорить о том, что меня ждет после того, как ты порвешь со мной все, я не буду. Трусливых пакостников не жалеют. Их отбрасывают, как слизь. Вот и все. Это и мешало мне писать тебе, любить тебя честно и глубоко. Теперь я тебя люблю настоящей человеческой чистой любовью. И сейчас вот, в эту минуту — я стал другим человеком, и что бы ты там не решила, я буду любить тебя и помнить о тебе. Так хочется видеть тебя! Но я знаю, что ты, наверно, даже письма не напишешь мне.

Прости меня, Женя. Где бы я ни был, что бы я ни делал — я любил и буду любить тебя.

С прив[етом]. Г.К.

1/II-39 года

4/II-39 г.

Вот как убедился, что ты не приедешь, стало немилосердно скушно. В столовой продолжают отравлять компотами. Видишь, какую глупость пишу. Ксения Ив. принесла мне картошку. Пеку в печке и ем. Очень вкусно. Послал бы тебе одну, да думаю, что ты уже закармлиена в доме отдыха. Ведь ты была там?

Скушно. Снова небо мутное. Снег да снег. Ветер и буран. Под окном лает Пират, просит хлеба. Он совсем стал худым и старым. У него до жути грустные тоскливые косые глаза, вялые вислые уши. Хозяин забыл о нем, увлекшись Ксюшей.

Еду домой. А что там ждет меня? Письма от тебя, конечно, нет. Как представлю себе, что нужно писать доклад аспирантский — сразу зубы ломит. XIX в. сдал. Весной сдам XX и весь кандидатский минимум долой! В этом году должен дать противный доклад, а в следующем диссертацию. Тут всего гора. Лучше переписывать что-нибудь, как Акакий Акакиевич, чем слепнуть над ученой работой. Какой я ученый? Я даже не могу принимать вид ученого “мужа”, как это делают мои сверстники.

6/II-39 г.

Милая моя Женя!

Я безумный дурак. Приехал домой из Ясной и воскрес я — твое письмо вернуло мне жизнь. Я многое переживаю сейчас, но ничего не могу сказать. Ах, как бы хотел я сейчас снова обмыть твои ноги в Яснополянском пруду! Боже мой, я бы обнял твои ноги и замер от счастья. Мелкий, как видишь, я человек. Женя, Женя, прости мне безумие мое. Неужели ты хотела быть со мной?? Как я томился, ожидая тебя в Ясной поляне. Если бы ты явилась, я бы задушил тебя от счастья. Дурак! Что это такое?

И вот не дожидаясь ответа на мое письмо, пишу тебе. Милая, приезжай хоть на один день: иначе я умру.

Нет, нет, как хочешь, так и действуй. Учись, учись, моя, черт бы тебя побрал, черноглазая злюка. Ты извела меня. Я тебя когда-нибудь удушю от радости. Вру. Я буду на тебя просто смотреть и быть счастливым. Я буду тихим и податливым. Хочешь — убью я себя ради твоего желания. Слушай-ка, или я дурак или сошел с ума. Но мне так захотелось видеть тебя и целовать тебя, что я места себе не нахожу. Довольно. Век то ведь практический сейчас. Пишу тебе, а самому хочется бежать к тебе сейчас же.

Если еще такая тоска по тебе продлится месяц, то ищи меня в доме сумасшедших.

Твой дурак и все что угодно Григорий.
7/II-39 года.

Женя!

Вчера приехал из Ясной Алекс. [Алексей Нелюсов] и привез твое письмо. А я то думал: почему она молчит. Так хочется видеть тебя, что просто говорить нет сил. А как видеть? Сейчас нет возможности поехать к тебе. Вот разве спустя дней 10, тогда. Сейчас иду в Госиздат, где будут обсуждать *Илью*. Что скажут? Напишу.

Пришел с этого собрания в час ночи. Что? Высказались еще не все, но и эти уничтожили совсем. Роман — выдумка, очень шумная. Больше писать нечего.

С прив[етом]. Г.К.

15/III-39г.

Женя!

Получил твое письмо. Спасибо. Я понимаю твое желание видеть меня или читать мои письма. Но ни того, ни другого не получается. Ехать к тебе не имею никакой возможности. Говорить же о том, что хочется видеть тебя — бесполезно, только одно расстройство! Писать о том, что меня волнует — не поднимаются руки. Молчать иногда полезнее для здоровья. Роман разбирали, но еще не кончили разбирать. Некоторые с непонятным мне ожесточением уничтожали меня, будто я чем-то оскорбил. Не хочется распространяться на эту тему. Скучно. Сколько вкусов, столько оценок. Вопрос печати *И[льи] К[ожарова]* решит заведующий современной прозой т. Резник.⁷ Он читает сейчас. Скажет свое мнение числа 23–25 марта. А мнение бригады для него необязательно. Высказалась только половина членов бригады, а другая половина и Бабель будут высказываться на следующем занятии. Тогда и я буду говорить. Конечно, роман имеет недостатки, но он — художественное произведение — это я знаю.

Ты утешаешь меня тем, что Гоголь начал с *Ганца Кюхельгартена*, Некрасов с *Мечты и звуков* и т.д. Милая, все это верно, но они начинали в твоём возрасте, а не таким дядей, как я! В этом все дело. Если б я знал, что проживу 100–120 лет, тогда бы я не отчаивался, а вдруг я умру скоро и ничего-то не сумел. Разве это не горько?

⁷ Yakov Lazarevich Reznik (1912-1988), Soviet prose writer, journalist, and editor.

Громов, Чкалов — покорили воздух, Стаханов — открыл новую эру человеческого труда, Шолохов поставил замечательный памятник нашей эпохи (*Тихий Дон*), Соболев — академик, доктор математических наук в 29 лет, Буся Гольдштейн — мировой скрипач, лейтенант Злой бил японцев на Хасане, а я... Что я сделал? Измарал несколько тетрадей, обманул надежды и свои и близких дорогих мне людей, проедал народные деньги — стипендию, но ничего не сделал!!!

Пишу тебе письмо и слушаю по радио концерт из Большого театра для делегатов XVIII съезда партии. Вот много товарищей. Я и от них отстал. Все сожрал мой пустой замысел — роман. Съел меня, мою энергию. Если бы я работал над собой в другом плане — тяжело, пусть..., я бы давно освободил свою старую мать от тяжелой необходимости добывать себе хлеб насущный. А я все еще живу выдумками. Впрочем, хватит.

Как твоё здоровье?

Ты не обижайся, если я буду молчать долго или замолчу совсем, не буду писать тебе. Я пересматриваю всю свою путаную жизнь.

Ну, будь здорова.

Г. Коновалов

29 марта 1939 года

Право, я достоин не только презрения, но и сожаления.

Г.К.

Женя!

Тяжело стало молчать. Не писал, но все думал о тебе. Иной раз плакал — так жалко было тебя. С 9 апреля по 23 апр. был в Ясной. Невозможно передать всей силы природы в этот момент: снег стаял, Воронка разлилась. В лесу жарко, идет пар от земли из-под листвы. Тогда уж распустились почки тополя, бузины, яблоня набухла и так пахла. Я проводил там курсы экскурсоводов — читал им лекции по литературе. На утренней и вечерней заре ходил на охоту с Пиратом. Снова обошел все те места, где мы с тобой бывали. И вот уехал. Хотел к тебе на май поехать, но не пустили из института. 29 и 30 дежурил в парткоме. Послал тебе телеграмму, но ты не приехала. А зря. Впрочем, я знал, что ты не приедешь.

Сейчас сижу и перерабатываю *Илью К[ожарова]*. Так [тошно? *ред.*], что ужас! Все же в этом месяце побываю у тебя. Впрочем, я ведь не знаю, как ты меня примешь! Ведь ты обиделась на мое последнее письмо. Прости. Ведь я не знаю, почему это так получилось. Вот жду

из Ясной телеграмму. Как зацветут яблони, они дадут мне телеграмму: зацвели. И я выезжаю принимать экзамены у моих учеников.

Ах, Женя, не хочется сдавать самому-то экзамен. Это последний. Тогда только диссертация и все.

Ну, пока. Не сердись на меня, дурака.

С приветом. Г. Коновалов.

6/V-39 г.

Пиши. А?

Женя!

Поздравляю с окончанием третьего курса. Сейчас просматривал твои письма и плакал над ними. Замирает сердце.

Был в Ясной весной, когда тепло. Потом, когда цвели яблони и пели соловьи. Потом 17 июня, цвели жасмин и розы. Угар от их томного запаха стоит в усадьбе. Такая сочная зелень! Помнишь или нет близ пруда серебристый тополь? Такой здоровый? Мы еще смотрели на него в дождь, когда я вернулся летом из Москвы с колбасами и т.п.? 18 июня в этот тополь ударила гроза и отломала у него огромную ветку. Но он устоял, только страшно кричал-скрипел.

Я сдаю 26 последний экзамен. Последний в жизни. И остаюсь писать диссертацию *Сказки и короткие рассказы Л. Н. Толстого*. На это дают год.

1 или 2-го еду посмотреть сына в Пермь, потом к брату на Южный Урал на озеро Тургояк, потом к матери в Оренбургские степи, потом в Таганрог к товарищу.

Верно, я тебя так обидел *тем* письмом? Не отвечаешь мне. Писал тебе, давал телеграмму — молчишь. Теперь уж и не смею просить.

Привет матери и брату.

С приветом Г.К.

25/VI-39 года

Materials and Discussions